



Андрей Курпатов

ДНЕВНИК
“Канатного плясуна”

PSYCHOSOPHIA

Андрей Владимирович Курпатов

Дневник «канатного плясуна»

Серия «Psychosophia»

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2772355

Аннотация

Текст «Дневника» не пророчество, не предостережение, это предложение выхода, и только. «Дневник» структурно идентичен исходному предмету подражания – «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Но содержание и суть текста кажутся обратными, вывернутыми наизнанку. Это постмодерн, полемика без полемики, утверждение без опровержения...

Книга будет интересна философам, психологам, искусствоведам, педагогам, широкому кругу читателей.

Содержание

Предисловие «Канатного плясуна»	4
I	4
II	7
III	13
IV	20
V	28
VI	31
VII	33
VIII	35
IX	39
X	44
Часть первая	47
О превращениях духа	47
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Андрей Курпатов

Дневник «Канатного плясуна»

Предисловие «Канатного плясуна»

I

Привет! Я канатный плясун. Впрочем, нет. Не совсем так... По своей специальности я самый обычный, рядовой, можно сказать, врач-психотерапевт, а не акробат и не самоубийца. Но появился у меня внезапно новый, странный, загадочный даже знакомый, назвал меня «канатным плясуном», и я почему-то ему поверил.

А, ведь, ему и нельзя не верить, он не просто убедителен – он прост. Рядом с ним я чувствую себя малым ребенком – доверчивым, в меру глупым, замороженным и благодарным. Этим счастьем и в детстве-то не особенно балуют, а тут бери – не хочу, и оплаты не попросят.

Если сказать, что он к себе располагает, так это значит ничего не сказать. Он потрясающий! О, если бы вы могли его видеть... Представьте себе: перс с огромными карими глаза-

ми, атлетическая фигура и улыбка, способная ободрить даже самую смятенную душу.

Он серьезен, даже строг временами, но при этом во всех его жестах, во взгляде, в голосе сквозит удивительная нежность. Его движения и статические позы завораживают своей внутренней силой, а взгляд, словно бездна – манит, кружит голову, окрыляет.

Его слова, каждое его слово – весомо, осмысленно, точно направлено в цель. Но он не заискивает, не пытается объяснять, не притормаживает на поворотах, он говорит ровно столько, сколько может быть сказано.

Я бы слушал его и слушал, вечность бы слушал, не прерываясь ни на секунду! Да вот только он сам время от времени замолкает внезапно и словно пропадает, уходит куда-то. Что таится в этом молчании? Что?.. Я теряюсь, я заморожен.

А может быть, я просто сошел с ума? По крайней мере, «критики» к моему состоянию у меня нет. Впрочем... Так или иначе, но я решил делать дневниковые записи (занятие для меня необычное). Конечно, глупо.

Надеюсь все же, что в этом есть хоть какой-нибудь смысл. Но вероятнее всего, эти тексты так и останутся тривиальным повествованием очередного безумца, ведь записать переживание невозможно (тут нужен опыт, а не душещипательные беседы), но сейчас почему-то очень хочется.

Уже второй день он говорит со мной длинными монологами, их я решил записывать дословно, насколько это возмож-

но. Но прежде, прежде я хочу рассказать, как все это началось. А то и правда примете меня за безумца! Нет, нет, ставить такой диагноз – это моя работа! Шучу. Поступайте как знаете. Канатному плясуну не пристало хорохориться, а то, неровен час, потеряешь равновесие – и привет. Ну, ладно.

Однако, все по порядку. Так вот, была суббота...

II

В отношениях, мне кажется, самое главное – чуткость, чуткость и благодарность, какими бы они ни были: дружба, любовный роман, знакомство, соседство – любые, главное чуткость и благодарность.

Недавно у меня появился такой друг. Когда-то он был моим пациентом, а теперь и сам выступил в роли доктора: он подарил мне прекрасный дорожный велосипед с двумя десятками скоростей, в надежде, что я все-таки примусь за свое не бог весть какое здоровье и буду тренировать ослабевшие после болезни ноги.

По правде сказать, я и не думал, что может найтись хоть какое-то средство, способное оторвать меня от письменного стола и заставить оздоравливаться. А вот ведь нашлось! Не велосипед, конечно, а забота другого о тебе.

Нужность себя мы узнаем через нужность себя для другого (однако собственную «ненужность» мы создаем себе сами). Мы нужны друг другу, это важно, остальное – блеф. Кто-то скажет, что, мол, все это «телячьи нежности» и что человек должен быть «самодостаточен». Дураки так думают, несчастные дураки.

Так вот, субботним вечером я в очередной раз миновал городскую черту на своем красном, как спелая вишня, «Trek,e» и помчался на дачу. Мелькали родные сердцу пей-

жажи, гремели машины, а я крутил педали и думал...

Один очень, может быть, даже чересчур, знаменитый психотерапевт сказал как-то: «Много званных, да мало избранных». Весьма, надо признать, непростая фраза. Избранные – это значит выбранные.

Но кого выберут? Того, кто считает себя слабым и ничтожным, или же того, кто считает себя сильным и способным на всё и вся? Иначе: того, кто ничто, или того, кто всё?

Почему-то большинство склоняется к мнению, что первого, тогда как сами они, разумеется, выбрали бы второго. Тут читается некая двойная игра, двойной стандарт, а это, право, никуда не годится.

Впрочем, нельзя не заметить и еще один немаловажный нюанс: сильный – это не значит невменяемый. Но для большинства именно так и значит, что столь же странно, сколь и нелепо.

Сильный, мне кажется, оттого и силен, что адекватен, а потому он более вменяем, чем кто бы то ни было. Мы должны быть сильными, но мы должны быть и чуткими, в противном случае вся наша сила – что мыльный пузырь.

Парадокс, видимо, в том-то и состоит: для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Ты должен стать сильным, тогда ты и будешь нужен. А до тех пор претендовать на собственную «нужность», по меньшей мере, наглость!

Однако каждому из нас очень бы хотелось быть нужным,

но при этом без всяких усилий с нашей стороны. Мы хотим быть нужными и, одновременно, чтобы нас оберегали, хранили, как дорогое сокровище, заботились о нас, словно о недееспособных, и, разумеется, боготворили по возможности. В результате получается, как и сказано: много званых, да мало избранных.

Да, мы заложники двусмысленности. Мы ничего не можем признать до конца: ни свою силу, ни свою слабость. Гонимые въедливым и бессмысленным страхом, мы постоянно ищем себе оправданий, ищем и, конечно же, находим.

Впрочем, наш суетливый, беспокойный и увертливый ум, который вечно, что называется, «себе на уме», способен и на большее. Став государством в государстве, он навязывает нам свою ущербную политику: он заставляет нас считать себя исключительными и при этом не перестает вынуждать своего носителя уповать на признание, поддержку и тому подобные глупости.

Но кто же, скажите на милость, может признать нашу исключительность, если мы настолько исключительны, что понять нас с нашей исключительностью никому не под силу? В результате, окруженные людьми, мы тяготимся одиночеством. Стоит ли этому удивляться, ведь в результате всех этих замысловатых манипуляций мы начинаем бояться самих себя.

Мы безумны, но мы боимся всего, чего угодно, только не своего безумия. И боимся смертельно: «Что подумают

другие?», «Как это будет выглядеть?», «Правильно ли я поступаю?», «Поймут ли меня?», «Оценят ли?», «Не обманут ли?», «Не решают ли они свои проблемы за мой счет?», «Нужен ли я?», «Не бросят ли?», «Будут ли меня любить так же, как люблю я?», «Сколько мне осталось жить и что со мной будет после смерти?», «Не будет ли мне больно?», «А зачем я живу?», «А справлюсь ли я?», «А если я оскандаюсь, сойду с ума, расплачусь?», «А что если все это бессмысленно?», «А что если я заблуждаюсь?», «И зачем это все?!».

Вот дурацкие вопросы! Их безысходность повергает человека в тоску, и он бежит в никуда, бежит без оглядки, бежит, судорожно перебирая ногами. И вот в какой-то момент ему уже кажется, что и нет никаких вопросов. Однако же, как только мелкая рябь пойдет по воде, наши страхи снова, с еще большим остервенением поднимают свои плоские головы и шипят, словно болотные гады. Но о чем они? Что кроется за нашими страхами? Чего мы боимся на самом деле?

Быть самими собой и позволить другому быть другим – вот две вещи, которые наполняют нас страхом. Нам кажется, что быть собой – это быть не таким, как все, или совсем не таким, а значит, изгоем и пр., и пр., и вытекающие отсюда последствия. Таково наше величайшее заблуждение, которое по глупости его даже при желании не разъяснишь разумно.

Конечно, мы такие, как все, мы ведь люди, значит, как говорится, ничто (именно – *ничто!*) человеческое нам не чуж-

до, но, с другой стороны, каждый из нас проявляет это «человеческое» по-своему, так что вот вам и бездна искомых отличий.

В двух этих страхах – быть самим собой и позволить другому быть другим – заключен, в сущности, один: быть, оказаться или казаться слабым. Но ведь именно страх и ослабляет. Значит, мы *уже* слабы, так чего же нам теперь бояться? Нельзя бояться, что слабость заявит о себе, если она уже состоялась. Поздно теперь предохраняться и глупо хорохориться.

Слабость у нас не в почете. Нам говорят: «Будьте сильными!» И, наверное, это правильно. Но что значит «быть сильным»? Вот она – великая языковая игра «разумного человечества»! Потворствовать своему страху – это значит быть сильным, а презреть все свои опасения, перестать защищаться, переступить раскаленную грань одиночества – это, по-нашему, слабость! Сумасшедший дом...

А может быть, люди уже умерли?.. По крайней мере, все признаки жизни отчаянно отдают мертвечиной.

Сумасшедший одинок: он сбежал от мира в искусственные, но зато искусно обустроенные «адовы кущи» своего разума, мысли, фантазии, бреда, принимаемого за логическую строгость. Мы все таковы, и я таков. Это признание, но оно, конечно, только первый шаг, возможно, причем самый незначительный из предстоящих. А сколько таких шагов еще будет? Будут ли? Что дальше? Какой следующий?

Вот об этом (или примерно об этом) я и думал в тот вечер, миновав городскую черту на своем красном, как спелая вишня, «Trek,e».

III

Велосипедные шины трудолюбиво шипели у меня под ногами, асфальт постепенно сменился проселочной дорогой, потом та и вовсе обратилась узкой лесной тропинкой. А я все ехал и ехал, петляя между деревьями.

«Ловкости» моей можно позавидовать (слон в посудной лавке и то, наверное, более грациозен), так что, в конце концов, выехав, по случаю, на песчаный берег какой-то незнакомой мне речушки, с управлением я все же так и не справился, уткнувшись передним колесом велосипеда в одинокую осину. Падение было неизбежным, и оно состоялось. «Не пытайтесь избежать неизбежного», – говорю я иногда своим пациентам, а теперь и сам воспользовался собственной рекомендацией.

– Блеск! – пропел чей-то почти безразличный бархатный голос. – Не смущайтесь неловкости. Проворность – сестра плутовства.

Я обернулся. На травянистом склоне, безмятежно любясь закатом, сидел рослый мужчина лет, наверное, тридцати.

– Впрочем, плут по-своему тоже обаятелен, – продолжил незнакомец, не поднимая на меня глаз.

Черные, как смоль, волосы, выющиеся подобно металлической стружке, спадали на его широкие плечи, обрамляя классическое по красоте лицо. Взгляд его был тих и даже пе-

чален. Хотя, может быть, печаль мне тогда только привиделась, не знаю.

Меня мгновенно сковало смущение, я неловко поднялся, отряхнулся и что-то буркнул в ответ. Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся.

– Вы не ушиблись?

Хотя он и выглядел ироничным, в его вопросе не было и *тени* издевки, что подкупило меня сразу, окончательно и, как выяснилось потом, бесповоротно. Просто же меня подкупить!

– Есть малость, – признался я, все еще продолжая отчаянно смущаться своей дюжей неловкости. – Пустяки.

– Кто вы?

– Велосипедист-любитель, – я отшутился, но не тут-то было.

– Похвально, но не вполне определенно, – спокойно парировал мой собеседник.

– Человек, – ответил я сдержанно, словно зондируя почву.

– Определенно, но слишком общо.

Кажется, мой очередной ответ, как, впрочем, и предыдущий, зиял полным отсутствием сообразительности. Незнакомец явно желал услышать что-то другое, лежащее на самой поверхности.

– Тогда Андрей, – я снова попытал счастья, заинтригованный этим двусмысленным и необъявленным поединком.

Он странно посмотрел на меня.

– Значит, ловец, – констатировал незнакомец и продолжил свой допрос, теперь уже, как мне показалось, с пристрастием. – Дальше...

– Психотерапевт, если вас *это* интересует, – сдался я наконец.

– А, «канатный плясун»! – радостно воскликнул незнакомец и впервые посмотрел мне прямо в глаза.

Я «попал»! Но куда?

– В каком смысле? – я был несколько удивлен подобным выводом, не говоря уже о той бурной реакции, которую побудило указание моей профессии.

Он улыбнулся, и как-то очень странно. Он выглядел и вел себя так, словно бы прежде мы были знакомы, а я его не узнаю. Казалось, он ждал, что вот-вот и я его признаю. Но, убей бог, я не мог его вспомнить! Я снова напрягся, как дилетант на дипломатическом приеме.

– Мы знакомы? – неуверенно поинтересовался я, подходя к незнакомцу чуть ближе.

– А то нет?! – он добродушно рассмеялся.

Озадаченный, я подсел к нему рядом на теплый травянистый склон и бесцельно уставился в раскрашенное пунцовым закатом небо.

– Да? – удивился я. – Странно... А почему я «канатный плясун»?

– Помнишь, – он говорил медленно, – солнечный воскресный день, базарная площадь, тонкая проволока, натянутая

между двумя башнями, и толпа беснующихся зевак, замерших от ужаса и хищного сладострастия?..

Нельзя сказать, чтобы я помнил, будто бы это действительно было со мной, но произведение я, кажется, узнал.

– Ницше?

– Да, мы были дружны с ним, – тихо, бесчувственно, словно пустое эхо, ответил мне незнакомец.

Если бы сейчас он смотрел не на закат, а на своего собеседника, то бишь на меня, то, вероятнее всего, стал бы свидетелем крайнего изумления, отразившегося на его, то бишь на моем, лице. Признаться, я видел сумасшедших, которые не только «дружили» с Ницше, но даже «состояли» с ним в близкородственных связях, но то были сумасшедшие... К счастью, *мой* собеседник смотрел на закат.

– Ну что? Вспомнил? – тихо продолжил он после паузы.

– Как я открыл маленькую дверцу башни и встал на проволоку?

Он радостно посмотрел на меня.

– Не хочется вас расстраивать, – я пытался быть деликатным, – но так, чтобы это было именно *со мной*, то, кажется, нет. Нет.

– Ну, конечно, ты ведь умер тогда, – незнакомец произнес эту фразу с уверенностью, которая слишком контрастировала с очевидной парадоксальностью данного утверждения. – Ничего, вспомнишь, – он снова помедлил, а затем продолжил, уже почти шепотом: – Я тебя искал, канатный плясун...

Он был смущен, его большие миндалевидные глаза лучились, и я непроизвольно улыбнулся ему в ответ. Казалось, теперь я его узнал. Но где мы с ним виделись? Что со мной происходит? Может быть, я только что получил сотрясение мозга, столкнувшись с этой благословенной осиной, и теперь галлюцинирую в забытии? Просто какая-то «Алиса в стране чудес»! Но если это и был сон, то, право, мне не хотелось просыпаться.

– Ты прости меня, – тихо произнес незнакомец, в котором я уже (сумасшедший!) подозревал Заратустру. – Я оставил тебя там, в дупле. Сглупил, было дело. Я сказал, что не буду больше разговаривать с мертвыми. Я не знал тогда, что нет смерти в смерти, что смерть только в жизни – смерть. Прости. Я искал смерти, оттого, видно, и думал, что она есть. Прости, ладно?

– Не бери в голову, Зар, – вдруг сказал я и тут же испугался собственных слов: казалось, что это не я, но кто-то во мне ответил его смущению.

– Спасибо. Я знал, что ты меня простишь, – и кажется, что тяжелый груз упал в этот миг с его плеч. Всем корпусом он повернулся ко мне. – Мы ведь друзья? – и отчаянная надежда на мое «да» звучала в этом вопросе.

– Еще бы!

– Ты скучал обо мне? – и этот гигант залился краской.

– Скучал, только я не знал, что о тебе, но скучал. Ты простишь меня?

– Вот тоже скажешь! – он засмеялся. – Ты ведь умер тогда.

В голове моей воцарилась ужасная терминологическая путаница. Я так и не мог понять, что думает мой собеседник: есть смерть или же ее все-таки нет. И если ее нет, то как тогда получилось, что я все-таки «умер». Но, кажется, Заратустру эта проблема совершенно не беспокоила. Может быть, это и не было проблемой?

Я растерялся, но усилием воли все-таки воздержался от дополнительных расспросов. Он был настолько спокоен, настолько доволен, что я со своим терминологическим занудством был бы совсем некстати. Да и какая ерунда, право! Умер, не умер – один черт!

– А теперь как? Произвожу впечатление живого? – поинтересовался я. – Дышится, по крайней мере, легко.

– И только-то? – спросил он с наигранным укором.

– Нет.

Мы молчали какое-то время.

– Ты устал? – он посмотрел на меня с озабоченностью (или заботой?).

– Есть малость. Ерунда, – я пытался выглядеть равнодушным, и мне не хотелось прерывать этот странный, все более завораживающий меня разговор из-за слабости, нахлынувшей изнутри.

– Усталый должен отдыхать, а не искать новых ощущений, – строго сказал Заратустра, потом помедлил и продолжил как-то отстраненно: – Кожа у людей притупилась, оне-

мела. Путь бесчувственного – между убийством и суицидом. Не надо больше крови, Андрей, ни своей, ни чужой, хватит. Иллюзия ничего не стоит. Отдохни, дышится ведь легко...

Заратустра окидывал взглядом пунцовое небо, а я смотрел на него, замороженный и потрясенный. Неизъяснимое волнение охватило меня, эта встреча – нечто очень важное в моей жизни. Но что мне предстояло пережить с этим человеком? Человеком ли? Сверхчеловеком?

IV

Река несла мимо нас свои темные воды, на том берегу виднелась черная полоска соснового леса, а погружающееся в небытие солнце окрасило горизонт розовой пеленой рваных облаков.

«Человек не умеет быть человеком, – продолжал Заратустра. – Он ведь даже не может говорить с другим человеком напрямую, без соглядатаев и посредников. Он подобно шпиону подслушивает свой собственный разговор. В присутствии шпиона нельзя не лгать, особенно если страшно. Не умеете вы говорить друг с другом глаза в глаза.

Видишь тот берег? Чтобы перейти туда, тебе не нужен мост, тебе просто не нужно бояться. Ничто вам не угрожает, только страх ваш рисует опасность. Столь же мнима опасность, сколь и страх, ее порождающий.

Но появился страх раньше самосознания, вот поэтому доверяет человек страху, а самому Себе – нет. Страх породил самосознание, простое породило сложное. Это нормально. Человек произошел от червя, стоит ли стыдиться своей родословной? Сложное всегда следует за простым.

Теперь человек стоит в очереди к Себе самому, но он стоит в очереди последним, он стоит за червем. Так он ничего не дожидется. Скорее уж действительно станет червь человеком!

Но ожидание ожиданию – рознь, а покой – не бездействие.

Бездействие не может быть покоем, ведь жизнь продолжается. Некуда идти, если незачем. Все уже есть в человеке, все предусмотрено, но есть ли он Сам?

Простое понять труднее всего, и создано было сложное, чтобы понять простое. Нужно сложное, но нужно оно для простого, а не само по себе. Сложное – лишь инструмент, а простое – оно и есть сама жизнь. Кто поймет роль сложного и место простого, тот позволит жизни своей жить.

Не люблю я суеты человеческой. Пытается суетливый попасть в струю, но разве можно попасть в себя Самого? Поток жизни – не жизнь, но человек, и не может он попасть в Себя самого, а потому не люблю я человеческой суеты.

Не люблю я человеческого тщеславия. Тщеславному есть что терять. Он будет бояться, даже если предметом его тщеславия будет бесстрашие. Я не люблю выигрыш проигрыша.

Не люблю я человеческих оправданий. Поиск причины – это поиск конца, но не начала. Всегда оправдать можно собственное бездействие, зная причину. Но любой конец иллюзорен, однако реален он для имеющего оправдание. Можно стать жертвой, даже она если никому не нужна. Я не люблю оправданий глупости.

Не люблю я человеческих знаний. Один норовит знанием своим учить другого, но кто же голоден до чужого знания? Знание человеческое – словно яйцо без семени, коли не будет оно съедено, то протухнет, и потому нужно знающему скормить свое знание. А вырасти из яйца этого ничего не

вырастет, ибо не для того рождалось оно, чтобы жить, но для того только, чтобы умереть. Не люблю я знаний, которыми учат.

Не люблю я созидания человеческого. Ибо какая разница, что от трудов ваших меняется форма вещества, если не меняется вещество? Иллюзия созидания обманывает созидającego. И когда строят, разрушая, то не строят, а рушат. И когда создают ради созидания, то создают смерть. Созидание разрушения ради я не люблю.

Не люблю я добродетелей человеческих. Ибо то, что от сердца идет, не имеет имени, а то, что от разума, – смысла. Нет, не заслуга добродетель ваша, но могильщик, отпевающий искренность. Знайте же, что не выдают медали за искренность, но добродетель ваша в орденах, словно в латах цинковых. И подобны коросте гнойной эти латы, что покрывают собой сердце ваше, и иссохнет оно от заботы такой и вас погубит. Я же не почитаю почитаемых добродетелей.

И человеческой торговли духом не люблю я. И не важна цель, коей возбуждается дух ваш тщедушный, ибо, от цели зависимый, перестает он быть духом. Определяемым становится он из определяющего, если выставлен на продажу. Но не уместен торг, если товар подпорчен, да и сам торг – обесценивает. Разменяете дух – душок получите. А разменной монеты духа человеческого я не люблю.

Не люблю я стремления человеческого делать свою судьбу. Карьера – то участь раба и дорога смерти. Нужно жить,

и тогда необходимое дано будет, а более необходимого даже глупцу не может быть нужно. Ненужное востребовано не будет, невостребованное сгниет и погубит необходимое гниением своим. Жизнь не более того, что она есть, но не может ее быть мало. Судьба же – довесок к жизни вашей, довесок ненужный и тлетворный для жизни. Не люблю я стремлений человеческих, ибо дурно от них пахнет.

Не люблю я стремления человеческого быть хорошим. Желание это от неудовлетворенности, но когда же недостаточность рождала радость? А если нет в человеке радости, как быть хорошим ему? Стремящийся быть хорошим для других пытается быть *каким-то*, но не самим Собой, а значит, и не быть вовсе. Если же тебя нет, то что в тебе проку? Стремящийся быть хорошим не может хорошим быть, ибо его Самого нет. И потому стремление это – ложь, а я не люблю лжи человеческой.

Не люблю я служения человеческого, ибо ждет служащий за службу свою награды. Но разве жизнь ваша – не награда вам? А если нет, то, верно, и не живете вы! Или же думаете, что награда за служение ваше – это похороны за государственный счет под выстрелы холостые? Так знайте же, что служите вы смерти служа! Только два пути есть, что известны мне: ты или не жил вовсе, или награждал жизнью. Не люблю я иллюзий человеческих, а служенье из их числа.

Не люблю я сомнений человеческих, ибо сомневающийся неустойчив и зыбок. Какая разница, что все сделал ты пра-

вильно, если одолевают тебя сомнения? Помни же, что сомнение разрушает деяние. И знай же, что не сделал ты ничего, если полон сомнения. Жизнь не может быть относительной, в таком качестве ее нет и не может быть. Если нечто есть, то нельзя сомневаться в этом. Не любит сомневающийся жизни, а я не люблю человеческого сомнения.

Не люблю я стремление человеческое делать добро. Если добро, что сделал ты, принесло радость тебе – это добро для тебя, а потому эгоизм. Признайся же в этом и не лги себе никогда! А если добро твое – добро, но нерадостно, то разве же это добро? Тот, кто хочет делать добро, тот следует идее добра, но не добру. И потому растит он злобу жадную в сердце своем, и станет она мстью черной, и погубит его. И не важно, кому будет мстить он – себе ли, другим, ибо сам он – иллюзии каторжник, сам он несчастен. Тот же, кто добр, добрым быть не желая, – тот эгоист жизни, тот и пестует жизнь. Но стремящихся делать добро не люблю я.

Не люблю я и человеческих предпочтений, ибо одно не лучше другого, но *другое*, и у каждого своя правда. Кто не видит этого – тот слеп. А как слепому судить и оказывать предпочтение? Оказывая одному предпочтение, ты в правде отказываешь другому, а значит – лжешь ты, оказывая предпочтение. Вот почему предпочтение всегда лживо! И если оказал ты в одном предпочтение, то показал этим, что в остальном слаб. Признай же слабость свою и не бойся быть слабым! Делай, что можешь, но не думай, что оказываешь тем пред-

почтение, которое не люблю я, как и все человеческое.

Не люблю я высокомерия человеческого, ибо высокомерие всякое – суть презрение, жизни выказанное. Тот же, кто данного ему не ценит, – тот предает. Не является благодарностью покорностью, а покорность не бывает никогда благодарной, потому-то не люблю я и самобичевания человеческого. Неспособен высокомерный разглядеть собственной слабости, этим претендует на абсолютную силу – так и сядет он в лужу. А уничижающийся даже того не сделает, что в силах его. И не знаю я, кто лучше из этих двух, ведь не важно, *почему* предал ты жизнь. Ты сделал это!

Не люблю я самолюбования человеческого. Глупо гордиться ростом своим или цветом волос – благодари за это родителей, ибо это их гордость. Если же то, что постиг ты, – мудрость жизни, то это *ее* мудрость. Так чем же ты похваляешься? И даже то, что есть ты, – не твое, ибо придет время и будет все отнято, и не успеешь ты наиграться. Радуйся же, полоумный Нарцисс, вырвут с корнем тебя красотой твоей восхищенные! Любующийся, можешь ты любоваться лишь собственной смертью! Дурной же вкус у того, кто смертью своей любит вместо жизни, а я потому не люблю человеческого самолюбования.

Не люблю я к свободе стремление человеческое, ибо не знаете вы, к чему стремитесь. Как можете вы стремиться, цели своей не ведая, и от чего хотите свободы? Не от жизни ли хотите освободиться? Так уже от нее вы свободны, стремя-

щиеся, ибо умерли! Или хотите вы гарантий себе безнаказанности?! О, как же несвободны рабы, стремящиеся к свободе, полные страха! Нет, не будет вам свободы такой! Никогда не будет! И какое дело вам до свободы, безумные, если страшаетесь вы быть свободными? Зачем права вам, раболепные, если вы страшаетесь быть правыми? Страх ваш – вот цепи ваши, а свобода подлинная – это свобода от страха. Но ждете вы, что дадут вам, а взять можете только сами. Смешно мне стремление ваше к свободе! Только мертвецы и стремятся к свободе вашей, ибо не знают они жизни, а я не люблю это стремление.

Но более всего не люблю я соль человеческого – отрицание человеком самого Себя! Как случилось, что, будучи эгоистами, так ненавидите вы эгоизм? Разве же не следует опереться на то, что имеешь, прежде движения? На что же еще полагаться, если не на то, что ты есть? Так кого же пытаетесь вы обмануть?

Быть эгоистом не значит лгать, но значит быть честным с самим Собой. Ибо кто, как не эгоист, ощущает Себя самого. Кто, если не эгоист, может быть самим Собой для другого, позволив тем ему быть Другим? Знай же, что, отрицая Себя самого, ты отрицаешь Другого! Ты не только мертвец, но и убийца!

Лишь иллюзия одна – достойна твоего отрицания. А человек, отрицающий Себя самого, отрицает Жизнь, и он мертв, а потому не человек он, а труп. Я готов говорить с умершим,

но я не могу говорить с живым трупом! Отрицающий Себя самого – отрицает меня, и не могу я говорить с ним, ибо меня нет для него. Но я хочу говорить с человеком! Да, я не люблю человеческое, но я дорожу превыше всего *человеком!*

Человеческое есть нечто, что должно быть побеждено. Но что сделали вы, дабы победить свое рабство?»

V

Словно медный язык монастырского колокола бился в эти минуты о чугунный обод, и он смолк вдруг, внезапно, замер в дрожащих руках звонаря... Заратустра медленно повернул ко мне голову. На его длинных, густых ресницах блеснула слеза, он глубоко вздохнул и после паузы прервал молчание:

– Желание быть сверхчеловеком, может быть, и похвально, не знаю... – он печально улыбнулся. – Но ведь никто не был еще *человеком*. Есть песня, да нет у певца ни слуха, ни голоса. Нельзя человеком быть в одиночку. Понимаешь? Не получается...

Сто лет был я окутан холодом сверхчеловеческого одиночества, сто лет. Я хотел быть сверхчеловеком, я стал им, я был им, я устал... Все это ровным счетом ничего не стоит.

Человек не может быть *один*, но будет он одинок, пока не станет самым Собой для Другого. Как сиять росе утренней, если не ласкает ее луч солнечный?

Как же просто быть самым Собой! Руку подай – и все. Но те, от кого ушел я сто лет назад, не могли именно этого. А я ведь принимал их за людей... Глупо, да? Зачем, мертвец, ты пришел ко мне? Хочешь ли ты теперь *жить*?

– Да, – ответил я сдавленным голосом.

И тут же испуганное сомнение пронзило меня изнутри: «Он мне не поверит!»

Заратустра улыбнулся:

– Не следи за собой, хватит шпионить. Я знаю, что ты хороший, знаю. Ну чего ты боишься? – его слова звучали, как шелест шелка, он смотрел мне прямо в глаза, улыбаясь своими глазами. – Что же ты? Не доверяешь себе, канатный плясун? Самому Себе, и не доверяешь... Плясун, я пришел с тем, чтобы ты мог *танцевать*. «Я поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать». Помнишь?

Заратустра тихо рассмеялся, снедая мое смущение.

– У меня не получится, – эти слова скользнули с губ моих сами по себе, словно один только выдох.

– Ну вот, можешь же не шпионить!

И в тот самый миг я впервые ощутил, что это значит «быть самим Собой для Другого». Но уже через сотую долю секунды мой «шпион» снова вернулся. Я смутился, кровь ударила мне в лицо, я затараторил:

– Зар, во мне есть все человеческое, что ты перечислил. Правда, не смейся! И стремление делать добро, и желание строить свою судьбу, меня душит стремление к знанию, свободе, черт бы ее побрал! Я оказываю предпочтение и сомневаюсь, да! Я стыжусь своего высокомерия, но оно есть, от этого никуда не деться. Я, наверное, испытываю самолюбование, наверное. И торгую духом, созидая. Я отрекаюсь от самого Себя – это точно. Прости, наверное, я не тот канатный плясун, которого ты ищешь, ты обознался.

И, выпалив все это, бог знает зачем, я испытал такую оби-

ду, такое отчаяние... Я снова не верил себе, я не верил тому, что сам и говорил. Да, человеческого во мне с избытком, но я не мог позволить себе не быть «канатным плясуном» для моего Заратустры. Я боялся потерять его, я слишком долго его искал. Закусив губу, я пытался справиться с собственным противоречием – или быть честным, или быть настоящим.

– Ты пришел, – тихо ответил он моему молчанию, – значит, ты искал. Многие выходили на этот берег, но только ты заметил паромщика. Ты еще хочешь на тот берег?

– Сверхчеловеком?

– Я сказал: «на тот берег», а не «этажом выше»! – он почти шикнул на меня и сразу вслед за этим расхохотался.

– Ты знаешь, *как*?

– Тебе нужна чужая победа? Добыча и опыт – разные вещи.

Я почувствовал, что проявляю слабость, что хочу возложить свои заботы на его плечи. Мне стало стыдно, я снова смутился, почувствовал себя маленьким, и мой «шпион» вдруг снова исчез.

– Глупо, да?.. Надо самому...

– Я буду для тебя человеком, если ты позволишь.

– Я не должен сомневаться?

– И ты должен быть эгоистом!

– Я и есть эгоист, – сказал я, подумав.

– Нет, ты эгоист для людей, но еще не для самого Себя.

Я молчал.

VI

– Знаешь, почему я разглядел в тебе канатного плясуна? – спросил Заратустра после долгого молчания. – Ты развлекаешь толпу, но ты рискуешь не ради выгоды. Ты мечтаешь разглядеть в этой толпе одного – того, кто не будет посмеиваться над твоими прыжками и кубертатами, кто не будет прищелкивать языком, предвкушая скорую твою гибель. Ты ищешь того, кто будет бояться за тебя, чтобы ты мог не бояться. Ты ищешь человека, чтобы быть человеком. Зачем еще ты встал на канат?

Ты задумался над вопросами, которые уже не оставят тебя. Ты хочешь решить загадку человеческого. Я думаю, что тут нет решения. Это какая-то умственная жвачка. Порочные круги, морская пена. Пытаясь познать человеческое, ты пытаешься изучить свою тень. Но тень иллюзорна, это ложный аналог твоего отношения со Светом. Человеческое – паяц, что отвлекает тебя от *человека*, паяц, толкающий тебя в бездну смерти. Ты будешь познавать больше и больше, но так ты никогда ничего не узнаешь.

Человеческое – это нарождающаяся иллюзия. Она красочна, ею можно залюбоваться, но она не откроет тебе Света, заманив мишурой своего дешевого фейерверка. Ты должен узнать сокровенное, ты должен узнать *человека*. Ты уже встал на путь жизни, но ты еще не живешь. Ты канатный пляс-

сун, теперь ты можешь стать канатным висельником, а можешь *танцевать*. В этот раз я поспел раньше твоей смерти. Не покидай же меня! Жизнь еще теплится. Я не могу сказать тебе ничего, что бы ты хотел услышать, это никак невозможно. Но ты ведь все знаешь сам, не можешь не знать. Только не сомневайся, не ищи оправданий и не бойся!

Заратустра замолчал, а я не мог ему ответить. Мне предстояло или умереть, или, преодолев свой страх, обратить себя к жизни и жить. Он шевельнулся, его рука тихо коснулась моей руки.

VII

Темнело. Мы сидели на остывающей земле, Заратустра сжимал мою руку в своей и молчал, но вечерняя прохлада казалась мне парным молоком, мне было тепло изнутри. Мир распахнулся, подобно мягкому ватному одеялу. Мысли редко мерцали на периферии моего сознания, навязчивые шпионы куда-то исчезли, время остановилось, а величественное солнце замерло плавающим полукругом над линией горизонта.

Я улыбался и почему-то плакал, соленые капли неторопливо сбегали по горячим щекам и беззвучно падали на речной песок. Все вокруг жило, я чувствовал это – небо, солнце и эта река, несущая мимо нас свои воды, все жило и предлагало мне жизнь.

Сколько прошло времени, я не знаю, но вдруг крикнула птица, крикнула пронзительно, зычно, призывно. Заратустра встал и подошел к воде.

– Прощай, уходящее Солнце! – прокричал Заратустра. – Иди на покой. Как хорошо, когда не жжешь ты, но греешь! Не усердствуй же, люди сожгут себя сами. Погребальные костры уже приготовлены! Пиршество пламени не за горами!

Закат, грозный усмиритель огня, к тебе обращается Заратустра! Сохрани тепло моей нежности, сердце мое снова бьется! Прекрасный улов уготовил ты мне сегодня, великий

кормчий!

Солнце, слышишь?! Заратустра поймал человека! Уходи же, не отбрасывай тени. Хватит теней! В мире теней я нашел Свет! Уйди, Солнце, дай мне налюбоваться Светом!

После этих слов Заратустра повернулся ко мне. Его стройное тело разрезало пополам диск уходящего солнца. И, словно поджидая этой секунды, хором многоголосым закричали птицы, зашелестели листья деревьев, терзаемые внезапным порывом ветра, а солнце, зависшее было над полоскою леса, упало за горизонт.

– Нам пора, канатный плясун, старик уже заждался нас в безумии своего одиночества!

VIII

Мы шли через лес, ветви хватали нас за руки, едва различимые во тьме корни ловили каждый наш шаг. Но вот слабый лунный свет обрисовал контуры покосившегося строения, жалкий огонек печально выглядывал из маленького окошка небольшой хижины.

Заратустра широко распахнул дверь, свет вылился из дома наружу, сопровождаемый раздраженным голосом:

– Опять ты, неугомонный? – сипло проворчал сухощавый старик, глядя куда-то в сторону. Впрочем, его водянистые глаза, казалось, и так отказывались видеть.

– Я не один, старик! Я с канатным плясуном. Помнишь его? – весело отвечал Заратустра, по-хозяйски проходя внутрь хижины и увлекая меня за собой.

– А мне-то что? Мертвец ты или живой – какая разница старику? Старику наплевать! – он пошамкал разохшимися губами и ворча, что, мол, хлеба и вина уйдет в два раза больше обычного, а он, дескать, на это не рассчитывал, удалился в кухню. По дороге он еще что-то бубнил в этом духе, кажется, относительно нашей легкомысленности.

Заратустра добродушно смеялся, провожая старика и взглядом, и каким-то забавным напутствием. Я же, напротив, отпустил печальную сентенцию:

– Если он прав, то стариков значительно больше, чем мо-

жет показаться на первый взгляд.

– Когда ты так говоришь, то сам становишься стариком, – строго сказал Заратустра и направился в комнату.

– А как избежать такой старости? – спросил я, когда мы усаживались за большой деревянный стол.

– Никогда не спрашивай меня о том, что ведет в никуда, – угрюмо произнес мой наставник, – этих дорог слишком много, слишком. Путь в никуда – не движение, а топтание на месте. В лабиринте много тупиков, а у тебя лишь одна жизнь. Не трать жизнь на смерть, даже если за одну жизнь тебе готовы дать две тысячи смертей. Количество пустоты не переходит в иное качество.

– Зар, так жизнь все-таки одна?

– Одна, – протянул Заратустра, укладывая голову на вытянутые по поверхности стола руки.

Он удивлялся моей несообразительности, но, казалось, еще не разочаровался во мне полностью.

– Но, – я был в замешательстве, – ты говорил, что я умер тогда, а сейчас...

– Что? – устало протянул Заратустра, явно не собираясь отвечать на поставленный мною вопрос.

– А сейчас я живой! – обида застряла у меня в горле.

– И что тебе непонятно?

– Так одна?!

– Одна, – ничуть не сомневаясь, но растерявшись от моей упрямой настойчивости, подтвердил Заратустра.

Старик, проявив изрядную сердобольность, накрыл наконец на стол, разлив, правда, по дороге вино и роняя хлеб... Заратустра добродушно подтрунивал над стариком, а тот, смущаясь своей старческой неловкости, но сохраняя напыщенно грозный вид, отвечал ему тем же.

Мы поужинали. В сумерках плохо освещенной комнаты мой товарищ казался еще более загадочным. Я допивал вино в своей кружке, искоса поглядывая на Заратустру, и мучился одним вопросом: это банальное нарушение мышления или что-то, в чем я до сих пор не разобрался?

– Истина невыразима, ее не разложишь по полочкам, – протяжно говорил Заратустра. – Разъять на элементы можно все, что угодно. Дурное дело не хитрое, братец. Дети искали душу, дети разрезали по частям лягушку. Кишки нашли, а жизнь ускользнула, – он посмотрел мне в глаза, проник в святая святых и протянул свою сильную руку моей великой растерянности. – А ты вот пойми, не членя. А? Зачем членить-то? Что, страшно тебе? Думаешь, по отдельности легче справиться? И сдалась тебе такая победа? Победа над трупом! Хорош, нечего сказать! Молодец! – тут голос его стал совсем тихим. – И не жалко тебе? Куда ты спешишь? А?.. Если можно понять, то нельзя будет не понять. А нельзя – так чего ж ты копыя ломаешь?

Потом мы вышли на крыльцо и удобно расположились на его старых, скрипучих ступеньках. Я достал табак из дорожной сумки, и мы закурили. Разговор складывался сам собою,

мы то шутили, то вдруг замолкали и через какое-то время снова смеялись, как, бывает, смеются два мальчика. Тишина манящего сна подступала все ближе и ближе, обнимала и нежила нас, окутывая со всех сторон своей заботливой дремотой.

Приятное расслабление, сдобренное домашним вином, теплой усталостью растекалось по всему телу. А фривольные звезды подмигивали нашим ленивым взорам, привораживая своей холодной загадкой. В какой-то момент мне показалось, что они словно бы удаляются, желая увлечь за собой и нас. О наивные сладострастницы! Нам было слишком хорошо здесь, на Земле.

Странно, но темнота окружавшего леса не пугала, а напротив, обнадеживала и располагала, в нее хотелось войти. Я задремал, а проснулся уже только утром, на полатах, бережно укрытый медвежьей шкурой. Заратустры не было...

IX

Нежные лучи утреннего солнца проникали в комнату сквозь узкое прямоугольное окошко под самым потолком. Я потянулся, ощущая приятную сладость во всем своем отдохнувшем, но еще вполне спящем теле. Давно у меня не было такого глубокого и спокойного сна, наверное, с самого детства...

«Что было прошлым днем? Где я?», – и я вспомнил вчерашний вечер, моего нового друга, улыбнулся и перевернулся со спины на бок. Но в этот момент сильный испуг пронзил все мое существо: «Где он? Где?!» Я вскочил и, шлепая босыми ногами по холодному деревянному полу, поспешил к двери.

Солнце остановило меня на пороге. Его тепло растопило мое волнение, я замер. Лес словно сказочный, в ризе мягкого утреннего света, был добр и весел. Я медленно шел по единственной дорожке, ведущей от дома туда, где виднелась белая гладь реки.

Еще не достигнув берега, я услышал радостные крики, плеск воды и завораживающий смех.

По берегу на точно таком же, как у меня, но только сильнее «Trek,e», рисуя круги, что-то крича и смеясь, поднимая в воздух столпы водяной пыли, колесил Заратустра.

– Утро пришло! Небо распахнулось светом! Птицы

проснулись, и звери покинули свои норы! Грядет день Человека! – кричал Заратустра. – Вставай, лежебока! Вставай и не забудь разбудить в себе Человека! Не гоже спать, ибо день уже начался! Начался день Человека! Скинь покровы сна, зри!

И я смотрел. Я смотрел, как этот счастливый человек, красивый в своей неумемной радости, ловил порывы ветра и отдавал им на откуп блестящие струи воды. Наконец Заратустра поравнялся со мной.

– Ну что? Купаться?

– Купаться! – ответил я.

Скинув одежду, какая на ком была, мы бросились в воду наперегонки и хохотали, орошая друг друга теплыми, светящимися брызгами.

Вода держала нас на поверхности, не пуская в свои холодные недра, течение несло, а птицы, весело щебеча, пикировали вниз, словно бы желая присоединиться к нашей беззаботной радости. Заратустра напыщенно грозил им пальцем:

– Кого вы хотите поймать, птицы? Рыбу или Человека? Кого вам не хватает для счастья? Ладно, берите рыбу себе, но человека я не отдам вам, птицы. В нем не проснулся еще Человек, Он еще дремлет! Он просыпается! Не спешите забрать на небо того, кто не научился еще ходить по земле!

А я дивился этому разговору и радовался, как ребенок.

Выйдя на берег, мы замерли, ощущая внутреннее тепло наших тел, пробивающееся к покрасневшей коже. Было

так хорошо, так радостно, так манил этот мир! И я пожалел, что проспал восход солнца.

– А старик еще спит? – спросил я.

– Этой ночью он умер, – ответил мне Заратустра, ответил спокойно и легко, словно говорил о каком-то милом, невинном и даже заурядном событии.

– Как?! – мгновенно мне стало холодно.

– Радостно, – тем же размеренным тоном отвечал Заратустра. – Давно он не был так счастлив!

– Счастлив?! Чем?

– Нами, – протянул Заратустра.

Тихая улыбка сияла на его лице. Он посмотрел на меня и произнес:

– Не пугайся. Тысячу лет хранил он в сердце своем скрижали истины, но никто так и не пришел, чтобы прочесть их. Этой ночью скрижали рассыпались, и он освободился. Теперь он свободен, и он ушел.

– Куда? В смерть?!

– Смерть – вымысел. Это иллюзия, она придумана человеком для обозначения неизвестного. Мы знаем только то, что человек умирает, но мы не знаем смерти, никто не видел ее и никогда не увидит.

Нас всегда интересует то, что будет «после»: после обеда, после второго пришествия, после смерти. Мы думаем, что после смерти будет смерть, но ведь не обед следует за обедом, а после второго пришествия будет третье, а не второе.

Человек был также мертв до рождения, как он мертв после смерти. Человек приходит ниоткуда, и уходит он в никуда. Сегодня праздник, ибо смерть – это праздник, праздник второго рождения.

Почему мы радуемся рождению, но не радуемся смерти? Только страх омрачает наш праздник. Страх неизвестности – это животный страх. Человеческое тоже страшится неизвестности, но Человек радуется своему незнанию, ибо оно делает его свободным.

– Но как можно радоваться его смерти? Умом я понимаю... Но я не могу радоваться смерти. Мне жалко старика.

– Не о себе ли ты жалеешь? Тебе страшно? Подумай.

– Наверное, ты прав.

– Так признай это, эгоист должен быть честным, – Зар беззаботно смеялся. – Если тебе жалко себя, жалея. Кто может тебе запретить? Но не оскорбляй память о старике своей скорбью, ведь он тот, кто был в твоей жизни, кто хотя бы отчасти сделал тебя тобой. Благодарность испытывает Человек к человеку, с которым встречается на пути, ибо встреча эта и есть Его путь.

– Зар, но почему никто не прочел его скрижалей?

– Он ценил их больше читателей. Ты тоже старик – в тебе нет ощущения эгоиста, ощущения самого Себя. Старик любил себя, но не ощущал. Он страдал эгофилией, но не знал честности эгоизма. Он ждал, что придет кто-нибудь и полюбит его так же, как он любил себя сам. Но кто полюбит тебя,

если тебя просто нет? Он ждал, но никто так и не пришел, ибо нельзя прийти к пустоте.

Учитель не может оставить учеников по своей линии. Кичиться знанием своим – значит, любить свое знание, не видя Себя самого. Это обесценивает твоё знание.

Знание имеет смысл только в руках эгоиста. Человек должен ощущать самого Себя, это сделает его знание весомым. Только так можно открыть путь к Другому.

Никогда не меняй знание на человека. Знание без человека что огонь без хвороста. Кто ощутит тебя Самого, тот ощутит и твоё знание. Но кто не ощущает самого Себя, никогда не поймет и знания Другого.

Возложи своё знание на общий алтарь и иди радоваться вместе с Другими. Танцуй с Ними, освободившись от своего знания. Твоё знание – завеса над жизнью, если ты не в силах расстаться с ним ради Другого. Но знай, что, расставшись со знанием, ты обретешь большее. Ты обретешь Других, которые обретут твоё знание. Так ты обретешь самого Себя.

Никто не заботится о Другом так, как делает это эгоист. Ты заботишься обо мне? – спросил Заратустра и засмеялся, а я смутился.

– А ты?

– «А ты? А ты?» Ату его, ату! – прокричал Заратустра и, вскочив на велосипед, помчался к дому.

Секунду я стоял в замешательстве, расхохотался и побегал за ним следом.

X

– Скорее, скорее! – кричал Заратустра. – Мы должны успеть! Скорее!

Вскочив на велосипеды, мы стремительно помчались сквозь лес. Я видел перед собой его изогнутую дугой спину, видел, как развевались на ветру его черные волосы, убранные в пучок.

Он смеялся, кричал, он разговаривал с лесом и его обитателями. Целый кортеж рыжих, пушистых белок и крылатый многоголосый эскорт щебечущих птиц сопровождали наше движение. Лоси, увенчанные покатыстыми рогами, бурые медведи, потягивающиеся, словно от пробуждения, волки и лисы, забавные зайцы, фыркающие ежи и прочая лесная живность – все выходили навстречу Заратустре и провожали его благодарным взглядом.

– Милые друзья мои! Я покидаю вас! Я нашел Человека, я пойду с ним! Нам нужно успеть увидеть конец, чтобы начать жить! Много в человеке страха, но он дорог мне, потому что я покидаю вас, мои лесные друзья!

Я смущался, полагая, что речь идет обо мне. Но все это было настолько странно, настолько фантастично, что страх мой не в силах был даже заявить о себе. Теперь мне было все равно, куда идти, зачем, когда... Мне было все равно, потому что, вопреки заверениям Заратустры, я, как мне казалось,

уже ничего не боялся.

Мы ехали около часа и оказались на огромной возвышенности, с которой открывался раскинувшийся как на ладони город. Солнце светило в зените. Заратустра спешил.

– Мы успели! Смотри! – и он указал мне на небо.

Я взглянул на солнце, и оно на мгновение ослепило куда-да, не жалеющего своих глаз. Темное пятно, возникшее перед глазами, показалось мне поначалу результатом этой неразумной выходки. Но уже через секунду я понял, что ошибся.

Происходило что-то ужасное...

Огромная тень полукругом стала медленно закрывать собой солнце. Затмение!

Завороженный, в каком-то животном ужасе, я смотрел на это загадочное небесное явление. А тень неумолимо и властно надвигалась тем временем на солнечный диск, и уже через каких-то пару минут стало смеркаться.

Ночь наступала раньше положенного срока. Город скрылся во тьме, на небе жадно блистали непривычно знакомые звезды, а прямо перед моими глазами, словно на гигантском блюде, зияло своей пугающей пустотой черное пятно в окружении пылающего нимба.

– Нет солнца, Андрей, если нет ощущения солнца. Тень знания закрывает человека. Ты хочешь быть мудрым, как змея, и гордиться мудростью своей, словно орел, парящий в бескрайнем небе? Зачем тебе это, если ты сокрыл в себе

Человека? Жив ли ты еще, друг мой? Жив?! А если жив, то кричи! Кричи и зови себя к самому Себе! Кричи!!!

И я закричал. Да, я закричал! И от моего крика, казалось, дрогнули небеса. Крик отчаяния, ужаса, боли разрывал мое существо.

Все мои муки, страхи, сомнения слились сейчас в один громогласный стон. Но вдруг он соскользнул с моих уст, как выскальзывает из рук пойманная ловцом рыба. Я онемел, сердце мое освободилось. И тогда я услышал другой крик, крик Заратустры, крик силы и мощи, крик счастья и великой победы:

– Солнце! Возвращайся! Он знает конец! Ему нужно узнать начало!

Я проспал сегодня восход, но Заратустра подарил его мне. Теперь это был мой восход, восход, подаренный мне Заратустрой.

Часть первая

(август – сентябрь)

*«Незрелый плод горек на вкус. Его выплюнут, а
семя его сгниет в жесткой “мякоти”.*

*Всякий плод рожден для того, чтобы созреть.
Но он должен быть рожден.*

*“Не рвать незрелого плода!” – вот искушение
мудрого».*

*Так говорил Заратустра, но не о плодах,
а о людях, но об этом умолчал Заратустра.*

О превращениях духа

Мы сидели на пластмассовых стульях за пластмассовым столом в маленьком открытом кафе, что в северной оконечности Летнего сада. День был теплый и солнечный, но парк, по традиции, пустовал.

Нас нежила прозрачная тишина, нарушаемая далеким шумом проезжающих автомобилей. Легкий ветерок škodливо трепал листья деревьев да обнимал бессловесные статуи, не делая предпочтений ни по признаку пола, ни по возрасту (надо сказать, весьма преклонному у этих мраморных изваяний).

Под стать статуям и охранявшие их милиционеры были

не очень-то разговорчивы, но, в отличие от последних, они время от времени недоверчиво поглядывали на посетителей парка, то бишь на нас с Заратустрой.

Зар потешался, то уличая в бессовестности ветер, то недоумевая, почему милиционеры полагают, будто мы имеем что-то против итальянских шедевров.

– Зар, перестань! У них просто работа такая – статуи охранять.

– Ваше правительство выбрасывает деньги на ветер. Бьюсь об заклад, эти статуи никуда не убегут!

– Порядок... – зачем-то протянул я.

Заратустра задумался.

– Знаешь ли ты о превращениях духа? – спросил он, глядя на кофейную гущу, растекшуюся по его чашке.

– Знаю, – самодовольно ответил я, уже успевший к тому времени заново пролистать томик ницшеанского «Заратустры». – Это о том, как дух становится верблюдом, верблюд – львом, а лев – ребенком?

– Дух не виден глазу, поэтому аллегии вполне уместны, молодец, – сухо резюмировал Заратустра.

– Что-то не так? – я осекся.

– Человек приходит в этот мир очаровательным ребенком, таким ему следует и уйти.

Заратустра улыбнулся в ответ на мой удивленный взгляд и вскоре продолжил:

– Рождается ребенок невинным животным, имя которому

– человек. Рождается он животным и начинает обретать человеческое. Маленькому человечку не разрешают жить настоящим, принуждают его думать о будущем и помнить о прошлом, желая лишить младенца опоры. Ведь не лиши его опоры, он будет себе на уме. А кому это нужно в стане боящихся?

Не любит ваше общество эгоистов, но ценит оно лишь типов самовлюбленных, что, не зная самих Себя, пестуют благопристойный образ свой, некий мистический идеал несуществующей добродетели.

Причем идеалы благопристойности и добродетели разнятся у вас до неприличия...

Он рассмеялся.

– Неужели же у ребенка больше опоры, чем у взрослого?

– Ха! Ваши взрослые и вовсе не существуют. Все, чем они гордятся, – лишь отзвуки жизни, *тени* существующего, фантомы бывшего. Ребенок – вот единственный реальный человек в вашем мире. Но недолго оставаться ему человеком! Ты ведь знаешь, как быстро учится человек дурному, – он посмотрел на меня с хитрым прищуром.

– К чему ты клонишь, Зар?

И вот что говорил Заратустра, когда говорил он серьезно: «Дух приходит в мир этот невинным ребенком, но мир полон страха. Здесь каждая тень боится собственной тени. Как же не испугаться вам ребенка невинного, открытости его добродушной и чистоты?

Слишком хорош ребенок для мира вашего, слишком естествен, слишком прост. И не подходит он вам, ибо недостаточно страха в нем, чтобы жить ему в мире вашем. И начинаете вы страх прививать любопытному несмышленику, не знающему, что есть мышеловки.

Болен удар мышеловки вашей, больно предательство, больна несвобода, имя которой – страх. Но кто же без боя отдаст счастье собственное? И становится ребенок маленьким львом, чтобы защитить счастье свое от предателей. Протестует он и утверждает право свое на счастье, и делает это как воин, как лев.

Раз за разом говорит он: “Нет!” И в “Нет!” его абсолютном, в отрицании этом, в безумии отрицания этого (ведь он говорит “Нет!”, даже если хочет сказать вам “Да!”), из хаоса отрицания этого рождается то, что назовут – его “Я”. Так начинается он свое восхождение на собственную Голгофу.

Каждый раз, когда говорит он “Нет!”, тем утверждает он свое “Я”. Он утверждает им свое желание, волю свою и свое право, право, которое он приписывает этому “Я”, а право его – это “Нет!” Но “Я” ребенка – не он Сам, но “Я” отрицания, отрицание воина.

Ребенок-лев обрел свое “Я”. “Я”, которое утверждает право свое, которое знает свое “хочу”. Но в борьбе всегда проигрывает победитель – он заложник своей победы, он кузнец собственной несвободы. Благородный боец – лишь звено в цепи войн и сражений. А потому сам он и есть свой палач.

И лишь тот спасается в битве этой, кто откажется воевать, но таких мало, таких отправляют у вас в интернаты для умиротворенных. Если же есть битва, то будет и “Я”, и пригодно оно только войнам. Но как жить может этот сеятель смерти?

Ребенок-лев защищался от страха и отвоевал у него свое право, отвоевал и теперь испугался. Ибо когда воин становится сторожем, то обращается в труса. И это “Я” ребенка уже более не “Я” отрицания, но “Я” его страха, страха, против которого он боролся. Боится лев потерять завоеванное, боится он, что отберут его право, боится, что “хочу” его останется безответным.

Есть у всякого зверя место уязвимое: у акулы – глаз, что вытечь может под клювом слабым птенца желторотого, у антилопы – сухожилие тонкое, и потому страшит ее жалкий шакал, что сам пугается собственной тени. И лев уязвим: “Я”, “мое право” и “хочу” – вот пята ахиллеса зверя хищного. И всякий норовит дергать за ниточки эти, ибо забавно смотреть несчастным, как страшась согласится на все.

Подчинено дракону великому все человеческое, но имя его не “власть” и не “ты должен”, что так любите вы, а Страх. И живет дракон этот не в заоблачных далях, и не блистает чешуя его золотом червленым в лучах солнца вечно полуденного, но обитает он в сердцах человеческих и пожирает их изнутри.

Ключья кровавые свисают из отвратительной пасти дракона, жадного до невинности, кровь пенная стекает ручья-

ми густыми, что сильны, как горные реки, по морщинистым усам его.

Как пионы, красны слезы отчаяния! Не может отныне быть человек человеком, ибо раздавлен он пятой страха собственного, задыхаясь слезами кровавыми.

Страху своему противится лев, но чем более сопротивление, тем сильнее и страх, ибо страх – это боль, а боль пугает. И боится теперь рева своего зверь царственный, ибо окружен он страхом.

“Я” бесчувственное его параличом сковано. Но не замечает лев страха собственного, ибо страх его безграничен. Взором же не окинешь земли всей, а потому пугливее саранчи трясущейся лев этот, хотя и мнит он себя центром вселенной!

И приходит потому время пустое, когда сменит льва гневливого верблюд одногорбый. А верблюд – животное выючное, что ему в страхе? Подчиняется он, так о чем теперь беспокоиться животному выючному?

Верблюд этот – знающий и сознательный, следует он правилам и чтит требования. Расторопно гнет он колени, подставляя спину хозяину. И не смотрите, что плюется верблюд, таковы причуды потомков льва, но потомков, и только.

Подчинение и власть так же верблюду естественны, как барханы и палящее солнце. Глух верблюд, но исполнителен. Знает верблюд команд множество и следует им рефлекторно, если же ошибется он – звено каравана, – то палка погонщика

хорошо охаживает спину его. Теперь слышит ребенок ваш только палку.

Но верблюд одногорбый неудобен наезднику. Подождите же, будет ему и второй горб! Вступит верблюд в нежную пору свою, благоприятствующую любви, и страх его начнет почковаться, ибо желающий этот бесчувствен! Два горба, два нароста на спине бесчувственного верблюда, два страха: страх жить и страх умереть».

Так говорил Заратустра, я слушал его и словно видел картины из моего детства. Вот я радостный, мне два с половиной года, мы сидим с мамой на теплом морском берегу, залитые солнцем, я подаю ей камушки, ракушки, стеклышки – всё, что я выудил для нее с морского дна. Она улыбается мне в ответ. А вот я на маленьком трехколесном велосипеде гордо катаюсь по квартире – из комнаты в комнату, через стеклянные двери.

И вдруг я сжался от боли, черная тень скользнула перед моими глазами: я стою на улице у дверей детского сада, я сбежал. Снедаемый страхом, я плачу от бессилия, здесь – во дворе, сидя на снегу, перед самой дверью моего эшафота. Наплакавшись, я встаю и, закусив раскрасневшуюся губу, отправляюсь обратно – в свою «среднюю группу».

Гордый лев стал превращаться в послушного верблюжонка. Одногорбым верблюдом я был в школе. Мое состояние было подобно чувству солдата, попавшего в окружение. Из своей засады я изредка стрелял по врагам короткими очере-

дями, но скоро понял, что этим выдаю свое присутствие. И я замер. А потом мне показалось, что все вроде бы нормально, все правильно, так и должно быть... порядок.

– Ты слушаешь? – обращение Заратустры силой вырвало меня из оцепенения.

– Да. Конечно, слушаю! А дальше?!

– Дальше. Дальше можно носить поклажу и хозяев, что на поверку точно такие же двугорбые верблюды, как и ты сам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.